



100-летию Саратовского государственного
университета имени Н. Г. Чернышевского
посвящается

А. А. Демченко
НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
В РОССИЙСКОЙ ПАМЯТИ И КРИТИКЕ

Николай Гаврилович Чернышевский (1828–1889) принадлежит к писателям, к которым время никогда не относилось равнодушно. С самых первых строк в «Современнике», возвестивших о появлении в литературе талантливого работника, до сегодняшнего дня вокруг его имени бурлят страсти, оно, как и прежде, продолжает «шуметь на всех путях и перекрестках русской жизни», по выражению одного из идеиных оппонентов Чернышевского конца XIX века¹. От признания современниками за Чернышевским значения крупного писателя, идеино влиявшего на формирование общественного сознания, до чрезмерного в последующее продолжительное время восхваления его как предшественника русского марксизма и затем резкого снижения его роли в отечественной литературе — таковы заметные вехи в оценках писателя на протяжении многих десятилетий.

Из шестидесяти одного года его жизни непосредственное участие в общественно-литературном движении продолжалось всего десять лет: в 1853 г. на страницах «Отечественных записок» и «Современника» появились первые публикации двадцатипятилетнего автора, с арестом в 1862 г. его деятельность была насилиственно прекращена. Узнику Петропавловской крепости лишь однажды удалось обратиться к читателям с романом «Что делать?». Наступившее затем почти полное литературное небытие длилось в России четверть века, — до конца его жизни, прошедшей в сибирской и астраханской ссылке, и потом еще около двадцати лет — после его смерти, когда в 1905–1906 гг. было

¹ Волынский А. Л. Русские критики. Литературные очерки. СПб., 1896. С. 262.

разрешено издать его первое Полное собрание сочинений, хотя публикации о его жизни и творчестве допускались в известных пределах сразу после смерти писателя.

Десятилетней работы в «Современнике» оказалось достаточным, чтобы шестидесятые годы XIX столетия назвали его именем, как сороковые — именем Белинского. Переадресовывая самому Чернышевскому сказанное им о немецком просветителе XVIII в. Лессинге, можно сказать, что он для своего времени «был главным в поколении тех деятелей, которых историческая необходимость вызвала для оживления его родины» (ПСС. Т. IV. С. 9)². Философ, историк, экономист, публицист, литературный критик, беллетрист, он привлекал и продолжает привлекать внимание исследователей в России и за ее пределами. Одухотворенность, огромность взятого на себя труда, истинность социальной позиции — всё это приковывало к нему внимание современников и последующих поколений.

Полная драматических событий жизнь Чернышевского наложила отпечаток на судьбу мемуаров о нем. Долгое время существовавшие запреты на упоминания об опальном мыслителе служили сильным сдерживающим фактором для мемуаристов, и к воспоминаниям многие из них приступили лишь спустя много лет после его смерти, что не могло не отразиться на точности в передаче событий. Со временем все же составился довольно значительный мемуарный фонд. Ныне он насчитывает более 180 названий — ценнейший источник для изучения жизни и творчества писателя³.

Включенные в наст. изд. воспоминания отражают почти все важнейшие периоды биографии писателя, хотя, разумеется, с разной обстоятельностью, достоверностью, глубиной содержания и качеством изложения.

Мемуаристов из ряда *contra* у Чернышевского просто не было, как не было таковых и среди критиков, когда речь шла о личнос-

² Здесь и далее указываются том и страницы изд.: *Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1939–1953.*

³ См.: *Чернышевская Н. Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников // Литературные беседы. Саратов, 1930. Вып. II; Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников: В 2 т. / Общ. ред. Ю. Г. Оксмана. Саратов, 1958–1959* (в дальнейшем сокращенно: *Воспоминания. 1959*); *Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников / Сост. Е. И. Покусаев и А. А. Демченко. М., 1982* (в дальнейшем сокращенно: *Воспоминания. 1982*).

ти писателя. Все, каких бы периодов жизни ни касались их воспоминания и характеристики, единодушно передают облик человека безукоризненной честности и чистоты, неизменной благожелательности к окружающим, даже «святости», как выразился Н. А. Бердяев⁴. Исключение, пожалуй, составляет лишь известная четвертая глава в романе В. В. Набокова «Дар»⁵. Однако этот материал не является ни мемуаром, ни критической или исследовательской работой. Перед нами опыт художественного биографического изложения, в котором, как это вообще свойственно жанру художественной биографии, интерпретация документальных материалов нередко смешана с вымыслом и потому не может быть рассматриваема в качестве источника. По этой именно причине глава из «Дара» Набокова не включена в наст. Антологию, рассмотрение главы требует иного контекста.

В памяти современников достаточно полно вырисовываются детские и отроческие годы жизни Чернышевского. Сведения о семейном окружении, условиях воспитания помогают воссоздать обстановку ранних лет развития, столь важную для понимания всей биографии писателя.

Основное внимание в воспитании сына протоиерей Г. И. Чернышевский уделял религиозной стороне. Причем в этой религиозности не было и тени фанатизма. Кроме того, бытовой и нравственный уклад глубоко религиозной семьи, существовавшей исключительно на жалованье отца и не знавшей материальных излишков, вполне соответствовал демократическим в своей основе условиям жизни разночинческой среды, всегда чуткой к социальным вопросам. Не случаен поэтому ранний интерес Николая, как выразился его двоюродный брат А. Н. Пыпин, к «общественным темам». Опираясь на собственные детские восприятия, Пыпин,росший с Чернышевским в одних условиях, сообщает о наблюдаемых «тяжестях крестьянской жизни», о «мрачных картинах насилия, жестокости, подавления личного и человеческого достоинства» и других «проявлении крепостного произвола». Продолжившие «тяжелое впечатление» факты крепостнического быта не могли не натолкнуть задумавшегося над ними юношу на «первые темы общественные», которые, по свидетельству Пыпина, затрагивались Чернышевским в беседах со сверстниками.

⁴ См.: Бердяев Н. А. Русская идея. М.; СПб., 2005. С. 622.

⁵ Набоков В. В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1990. Т. 3. С. 191–269.

Воспоминания современников раскрывают в подробностях идущие от самого Чернышевского признания: «Жизнь моего <детства> действительно почти не имела соприкосновения с фантасмагорическим элементом, потому что его почти не было в жизни моих <родных>, моего народа, которая тогда охватывала меня со всех сторон» (ПСС. Т. 1. С. 646–647). И еще о своей семье: «...Я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительной жизнью. Такой продолжительный, близкий пример в такое время, как детство, не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, что добро и что зло» (Там же. С. 680–681).

Один из постоянно интересовавших биографов вопросов, как мог Чернышевский, проведя все годы детства в семье православного священника, стать атеистом, в книге бывшего профессора Саратовской духовной семинарии в 1858–1864 гг., архиепископа Херсонского и Одесского получал однозначный ответ: под влиянием гувернеров⁶. «У него не было гувернеров. Руководил им отец с матерью», — категорично и авторитетно засвидетельствовал прекрасно осведомленный родственник Чернышевских А. Ф. Раев. И действительно, все другие показания современников, поверенные документами семейного архива, с очевидностью подтверждают это. Приведенные выше слова Чернышевского в известной степени могут быть учтены в ответе на вопрос о степени влияния на него религиозного воззрения. Впрочем, эта сторона его взглядов еще не получила всестороннего изучения. По крайней мере, один из религиозных деятелей, автор солидного исследования по истории русской философии, рассматривая Чернышевского как одного из виднейших представителей русского секуляризма, все же отмечал: «Религиозная сфера у Чернышевского никогда не знала очень интенсивной жизни, — но, собственно, никогда и не замирала»⁷.

Выпускник Пензенской духовной семинарии, отец Чернышевского, помимо хорошего знания древних языков, самостоятельно изучал французский и немецкий, много читал. Его домашняя би-

⁶ Никанор, епископ (Бровкович А. И.). Беседы о значении семинарского образования. По поводу смерти Чернышевского. Одесса, 1891. С. 7, 10.

⁷ Зеньковский В. В. История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2. С. 132, 142.

лиотека была самой большой среди духовенства епархии (247 названий). Известны и научные заслуги Г. И. Чернышевского перед церковью. Так, для предполагавшегося Духовно-учебным управлением при Синоде издания пособия по истории российской церкви он по поручению саратовского епископа Афанасия составил в 1851–1856 гг. «Церковно-историческое и статистическое описание Саратовской епархии», опубликованное уже после смерти автора⁸.

В семье протоиерея любили читать, интересовались языками. Под началом отца начались для Николая первые уроки на русском, старославянском, латинском, немецком и французском языках. Интерес к книге и рано обнаружившаяся тяга к гуманистальным наукам отмечается всеми, кто провел рядом с ним хотя бы и недолгое время. При этом подчеркивается воспитываемое отцом умение критически оценить прочитанное. Один из сообщаемых современником фактов останавливает внимание: «У Николая Гавриловича была книга: „История римского народа“ Роллена в переводе Тредьяковского, которая поражала его плохим слогом. Целые вечера проводил он со своим товарищем в том, что говорил сам и заставлял говорить его, как бы лучше выразиться. Когда же он, выучившись французскому языку, достал подлинник этой книги на французском языке, то сличал его в продолжении почти целой зимы по вечерам с переводом Тредьяковского». Именно в эти годы у Чернышевского начала развиваться та способность к научной оценке попавшего в его поле зрения факта, о которой он говорил впоследствии: «Я один из тех мыслителей, которые неуклонно держатся научной точки зрения... Таков я с моей ранней молодости» (ПСС. Т. XV. С. 165).

Отец огородил сына от посещения занятий в духовном училище, исполненных зубрежки и начетничества. Именно отец содействовал его первым филологическим штудиям, пошедшим в духовной семинарии под руководством ориенталиста Г. С. Саблукова. Из этих лет запомнилось: «Умный, кроткий, добрый, любящий и всеми любимый товарищ» — свидетельство соученика-семинариста, впоследствии священника А. И. Розанова.

Изучение арабского, татарского языков, освоение культуры Востока исподволь готовило к научной карьере в университете. Но мысль о продолжении образования в Духовной академии оставалась все еще главной — до тех пор, пока протоиерей

⁸ Саратовские епархиальные ведомости. 1882. № 31–33, 36–40.

Чернышевский не был отстранен от должности в местной консистории ввиду ошибочной записи незаконнорожденного в церковной книге. Впоследствии была признана несправедливость суворовости наказания, не соответствующего проступку, но в момент совершения события оно сыграло важную роль в судьбе сына, и вот слова Е. Е. Чернышевской о сыне в ее письме к А. Ф Раеву от 7 января 1844 г.: «Мое желание было и есть — его оставить в духовном звании, но согрешила, настоящие неприятности поколебали мою твердость. Всякий бедный священник работай, трудись, терпи бедность, а вот награда самому лучшему из них. Господь да простит им несправедливость». Как видим, просто случай, но он из тех, какие выясняют глубинные причинности.

Отказ от карьеры богослова и поступление в Петербургский университет вовсе не означали ослабление религиозности. Николай еще довольно продолжительное время оставался верующим. Изменения наступят лишь к середине университетского курса, когда от близких ему идей христианского социализма он перейдет к социалистическим идеалам В. Г. Белинского и А. И. Герцена, а в философии к учению Фейербаха. Однако этот процесс духовных переосмыслений останется неведомым мемуаристам, и его изучение становится возможным лишь с опорой на другие источники. Тем не менее, сопоставление воспоминаний с немемуарными материалами показывает, насколько в целом точны сообщаемые современниками детали-факты. Они легко дополняют, «комментируют» друг друга.

О новых, «феरербахианских» настроениях Чернышевского, приехавшего после университета в родной Саратов учительствовать в гимназии, поведал в своих воспоминаниях Е. А. Белов. Ученики по гимназии запомнили нечасто встречавшиеся среди учителей той эпохи качества: доброта, уважение к человеческому достоинству ученика, приобщение к современной литературе, воспитание в своих питомцах критического отношения к изучаемому материалу, простота, демократичность во взаимоотношениях⁹.

⁹ См.: Воронов М. А. Болото. Картины московской и провинциальной жизни, ОПБ., 1870. С. 42–128; Дурасов В. Гимназические воспоминания // Саратовский дневник. 1886. № 21, 24, 30, 37; Константиновский А. Учителя и ученики Саратовской гимназии в 1842–1845 гг. // Саратовский дневник. 1866. № 72, 73; Бундас Н. Очерки из жизни Саратовской гимназии в пятидесятых годах (отрывки из воспоминаний гимназиста) // Русская школа. 1897. № 5–6, 7–8.

В эти два саратовских года Чернышевский открылся современникам многосторонне: преподаватель, нашедший в учениках благодарных слушателей; молодой ученый, обещающий блестящие достижения в избранной им филологии; полемист и мыслитель, горячо пропагандирующий философию Фейербаха; любящий, предельно тактичный сын; страстно влюбленный молодой человек, соединяющий пылкость чувства с серьезностью взгляда на брак как союз равноправных супругов.

Сведения очевидцев о его женитьбе на дочери саратовского врача О. С. Васильевой собраны Ф. В. Духовниковым¹⁰. Современникам, знавшим Ольгу Сократовну в молодые ее годы, запомнилась жизнерадостная, энергичная, любящая подвижные игры, веселая и смелая девушка. «Она, — писала об Ольге Сократовне хорошо ее помнившая племянница Чернышевского В. А. Пыпина, — увлекла его всем тем, что он так ценил: и красотой, и независимой индивидуальностью, и неиссякаемым порывом удачи, тем нервом протesta, который он ощущал и в себе, — совершенно в иную область направленного, но родственного по интенсивности порыва и самоизбавления»¹¹.

Воспоминания о шестидесятых годах и роли Чернышевского в ответственнейший из периодов развития общества, когда готовилась и произошла отмена крепостного права, занимают важное место в корпусе мемуаров. Собранные вместе свидетельства очевидцев дают возможность представить живые подробности эпохи и важные моменты напряженного идеиного противостояния в деятельности главы шестидесятников. Например, представителю военных кругов, участнику Крымской войны 1853–1856 годов Н. Д. Новицкому, вспоминается, как офицеры читают «Современник» с первыми статьями Чернышевского. Это была особая аудитория читателей, по словам меуариста, «не ученых, безвестных, молодых, но зато не искашивших еще в литературе и жизни ничего, кроме света и истины, преисполненных любви к родине и всему человечеству и пока искушенных жизненным опытом лишь в том, что называется самопожертвованием за других — не на словах, а на деле...». Статьи находили у нихозвучный нравственный эквивалент, и для них не было сомнения в том, что «появилась новая и большая сила в родной

¹⁰ См.: Воспоминания. 1982. С. 87–93.

¹¹ Пыпина В. А. Любовь в жизни Чернышевского. Пг., 1923. С. 98–99.

литературе», напоминающая Белинского¹². Сравнение возникало естественно, по логике развития русской мысли. «...Репутация его,— писал Некрасов в 1861 г., всегда отзывавшийся о Чернышевском „почти восторженно“¹³,— растет не по дням, а по часам — ход ее напоминает Белинского, только в больших размерах»¹⁴.

По «современниковским» годам Чернышевский запомнился деликатностью по отношению к начинающим литераторам, постоянной готовностью помочь, радушием, поразительной начитанностью и глубиной познаний. «К концу 50-х годов,— вспоминал Е. Я. Колбасин, знавший Чернышевского по редакционным собраниям в „Современнике“,— Некрасов совершенно разорвал связь со старым литературным лагерем и окружил себя „мальчишками“, как выражался Дружинин. В особенности он полюбил Чернышевского. Помню я зимние петербургские вечера, когда, утомленные дневным трудом, сотрудники сходились в комфортабельном кабинете Некрасова для отдыха и обмена мыслей. Некрасов всегда старался расшевелить Чернышевского и вызвать его на беседу. Действительно, Чернышевский постепенно оживлялся, и вскоре в комнате раздавался только его несколько пискливый голос. По своей крайней застенчивости Чернышевский не мог говорить в большом обществе, но в кругу близких лиц, позабыв свою робость, он говорил плавно и даже увлекательно. Некрасов, как я сказал, очень любил его рассказы и не без причины: в своих речах молодой экономист обнаруживал изумительные сведения и обогащал слушателей знаниями по всевозможным отраслям наук. Прислоняясь к камину и играя часовой цепочкой, Николай Гаврилович водил слушателей по самым разнообразным областям знаний: то он подвергал критике различные экономические системы, то строил синтез общественного прогресса, то излагал теорию философии естественной истории, то, чаще всего, он переносился в прошедшие века и рисовал картины минувшей жизни. Он владел самыми обширными сведениями по истории,— это был его любимый предмет, его специальность. Он рисовал сцены по истории французской революции или из эпохи Возрождения, изображал характер древних Афин или двора византийских императоров... Помню,

¹² Воспоминания. 1982. С. 157.

¹³ Н. А. Некрасов в воспоминаниях современников». М., 1971. С. 226.

¹⁴ Некрасов Н. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1967. Т. 8. С. 283.

как он увлек нас поразительной картиной нравов общества перед падением античной цивилизации...»¹⁵.

В печати тех лет, особенно после статьи Чернышевского «Полемические красоты» (1861), немало говорилось о несдержанности выражений, излишнем самомнении автора. Действительно, полемизируя с киевским профессором богословия П. Д. Юркевичем, критически воспринявшим статью Чернышевского «Антропологический принцип в философии», он с нескрываемым сарказмом отзывался о системе взглядов профессора, на что имел полное право по идейным соображениям, но отзывался, не рассматривая аргументы своего оппонента и даже заявляя, что не читал его выступления и читать не будет. Вл. С. Соловьев, например, вспоминания осудительный тон своего отца, относившего поведение Чернышевского на счет «вредного действия общественных поклонений», писал, что такая перемена могла происходить «не от самомнения, а от раздражения, вследствие оказавшейся непрочности освободительного движения и появившихся уже в 1861 г. признаков начинающейся реакции». Как бы там ни было, но неловкость положения оставалась, и упреки в прорывавшейся у Чернышевского неуместной в полемике раздражительности не были безосновательными.

С арестом Чернышевского и его высылкой в Сибирь соотносится стихотворение-мемуар Некрасова «Пророк», написанное в 1874 г. и первоначально имевшее заголовок «В воспоминание о Чер(нышев)ском». Начинается оно знаменательным предупреждением: «Не говори: „Забыл он осторожность!“ Он будет сам судьбы своей виной!...». Размыщляя о судьбе своего соратника по работе в «Современнике», поэт высказывает важную мысль, касающуюся закономерностей его общественного и нравственного поведения. Чернышевский, арестованный и сосланный в Сибирь на пожизненное поселение, вовсе не пал жертвой собственной неосмотрительности, как думают иные вследствие незнания, наивности или поверхностности взгляда. По убеждению поэта, Чернышевский в ту суровую эпоху не видел возможности служить Добру иначе, и чем возвышенней, шире любовь к народу, тем яснее самопожертвование во имя его — «...не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой».

¹⁵ Колбасин Е. Тени старого «Современника». Из воспоминаний о Н. А. Некрасове // Современник. 1911. № 8. С. 240.

Но любит он возвышенней и шире,
 В его душе нет помыслов мирских.
 «Жить для себя возможно только в мире,
 Но умереть возможно для других!» —
 Так мыслит он — и смерть ему любезна.
 Не скажет он, что жизнь ему нужна,
 Не скажет он, что гибель бесполезна:
 Его судьба давно ему ясна...
 Его еще покамест не распяли,
 Но час придет — он будет на кресте;
 Его послал бог Гнева и Печали
 Рабам земли напомнить о Христе. ¹⁶

Наставая на сильной евангелической параллели, Некрасов отметил суть личности Чернышевского: единство убеждений и поступков. Человек, чья судьба ему самому «давно ясна», сознательно идет на жертвы, если убежден в личном мужестве, в том, что никогда не поступится своими убеждениями. Он знал о предстоящих суровых испытаниях — нравственных и физических. Но не просил о пощаде, не склонил головы перед торжествующей победу властью, не отрекся от своей веры и ушел на казторгу «с святою нераскаянностью» ¹⁷.

«Верен своим убеждениям в своей жизни и в своих поступках», — вспоминал Н. И. Костомаров ¹⁸. «Человек громадных способностей, учености, неустанного труда, железной воли, неподкупной честности и глубоких убеждений, которым он всю жизнь не изменял ни в чем никогда, — писал современник, — Чернышевский был во многом, и особенно в этом последнем отношении... можно сказать, феноменальной личностью в нашей литературе и обществе... что называется — цельюю личностью» ¹⁹.

Многие факты сибирской биографии Чернышевского дошли до нас только в воспоминаниях современников — обширные записи П. Ф. Николаева, В. Н. Шаганова, С. Г. Стакевича и других сотоварищей по каторге.

Моральное одиночество, усилившееся после его перевода в Вилюйск, где он был лишен еще и всякого товарищества, невозмож-

¹⁶ Некрасов Н. А. Последние песни. М., 1974 С. 6.

¹⁷ Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1964. Т. XVIII. С. 286.

¹⁸ Воспоминания. 1959. Т. 1. С. 157.

¹⁹ Воспоминания. 1982. С. 174.

ность не только публиковать свои произведения, но даже хранить их в комнате из-за опасения обысков, подозрительность охранников, забрасываемых предписаниями о самом бдительном надзоре за «преступником», гибельный для европейца климат, отсутствие лекарств и здоровой, привычной пищи — в таких условиях нелегко было держаться. Нервы время от времени сдавали, «за одну ночь, бывало, столько перемен бывает с ним! То он поет, то танцует, то хохочет вслух громко, то говорит сам с собой, то плачет навзрыд», — свидетельствовали очевидцы²⁰. И все же переживавший глубокие душевые драмы писатель находил силы противостоять суровой безысходности вилюйского заточения. Якутский прокурор Д. И. Меликов, посетивший его в последний «вилюйский» год, встретил человека еще крепкого физически, с сильной памятью, подавлявшей «массой знаний (особенно исторических, хронологических)», словоохотливого в столь редко выпадавших на его долю бесед с образованными людьми.

О Чернышевском, пережившим страшную драму несправедливого судебного приговора, отзававшегося двадцатью годами сибирской и затем шестилетней астраханской и саратовской ссылки, религиозный философ и поэт Вл. С. Соловьев, не разделявший многие из воззрений Чернышевского, писал: «...Все сообщения печатные, письменные и устные, которые мне случилось иметь об отношении самого Чернышевского к постигшей его беде, согласно представляют его характер в наилучшем свете. Никакой позы, напряженности и трагичности; ничего мелкого и злобного; чрезвычайная простота и достоинство. В теоретических взглядах Чернышевского (до катастрофы) я вижу важные заблуждения; насколько он их сохранил или покинул впоследствии, я не знаю. Но нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека».

Критические отзывы о творчестве Чернышевского, сравнительно с мемуарными, не могли не оказаться в значительной своей части в полемическом ряду *contra*. Особый накал сталкивающихся мнений вызывали вопросы эстетики. Они во второй половине XIX в. интенсивно обсуждались трижды: в середине 1850-х гг., десять лет спустя и в самом конце столетия, и все эти

²⁰ Воспоминания. 1959. Т. 2. С. 218.

споры связаны с опубликованием текста диссертации Чернышевского. Уже один этот факт побуждает внимательнее отнестись к работе, аккумулировавшей в себе литературно-эстетические и философские воззрения ее автора. И дело не в преувеличенных заявлениях, принадлежавших одному из адептов Чернышевского М. А. Антоновичу, будто 1855 г., когда диссертация была издана впервые, стал «эпохой в истории наших литературно-эстетических воззрений», которые, особенно после второго издания диссертации А. Н. Пыпиным в 1865 г. (конечно, без имени автора), «получили почти исключительное господство в нашей литературе»²¹. Вл. С. Соловьев, высказывавшийся уже в связи с третьим изданием диссертации Чернышевского в 1893 г., справедливо поправил: сделал «первый шаг» к созданию эстетической системы, которую Соловьев назвал «положительной». И действительно, это был первый, серьезный, мощный шаг, мощный уже потому, что решительно противостоял устоявшимся к середине 1850-х гг. привычным воззрениям на искусство.

В наст. Антологии представлены авторы, стоявшие относительно диссертации Чернышевского *pro et contra*. С одной стороны Г. В. Плеханов и Вл. С. Соловьев, хотя и с разных мировоззренческих позиций, с другой — крупные философские фигуры начала XX в. Г. Г. Шпет и в известной степени В. В. Зеньковский. Противостояние оценок уходит корнями в споры вокруг первого издания знаменитого сочинения. Их следует рассмотреть детальнее, поскольку именно в ту пору рельефнее, чем при Белинском, обозначились расхождения между сторонниками «искусства для искусства» и их противниками, акцентировавшими общественное назначение искусства. Участники обсуждений — И. С. Тургенев, Д. В. Григорович, П. В. Анненков, А. В. Дружинин, В. П. Боткин, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов — ведущие литераторы и критики рассматриваемого времени.

Книга «Эстетические отношения искусства к действительности» вышла в свет 3 мая 1855 г. как «сочинение на степень магистра русской словесности», спустя неделю состоялась публичная защита диссертации. В мае же И. С. Тургенев получил письмо от П. В. Анненкова с резким отзывом: «Наподобие Руссо: о вреде просвещения. Недурно, и нелепостями играет очень

²¹ Антонович М. А. Литературно-критические статьи. М.; Л., 1961. С. 196.

ловко. Замечательно, что он защитил бесполезность науки и ничтожество искусства в Университете»²². Утверждение о «бесполезности науки» виделось в словах: «Автору кажется, что бесполезно толковать об основных вопросах науки только тогда, когда нельзя сказать о них ничего нового и основательного...». Но позиция автора диссертации была не столь прямолинейной, как это увиделось Анненкову: автор писал о необходимости «нового возврения на основные вопросы нашей специальной науки», о том, что «уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам, вот характер направления, господствующего ныне в науке» (ПСС. Т. II. С. 6). Анненкова не устраивала такая постановка вопроса, которая вела к изменениям взгляда и на искусство. Схожей позиции держался и А. В. Дружинин, защитник теории «артистического» искусства, противопоставленной «utilitaristам»²³. Тургенев ответил не сразу. Посторонним отзывам он не торопился верить, поскольку они находились в известном противоречии с его собственным представлением об импонировавшей ему начавшейся литературно-критической деятельности Чернышевского. Книга пришла во второй половине июня, и в письме к Анненкову от 1 июля 1855 г. он высказался о ней с чрезвычайной резкостью: «Чернышевского за его книгу — надо бы публично заклеймить позором. Это мерзость и наглость неслыханная»²⁴. «Какую мерзость сочинил „пахнущий клопами“! — писал Тургенев неделю спустя Боткину. — Теперь и я иначе называть его не стану»²⁵. Последняя фраза с несомненностью свидетельствует: до чтения диссертации Тургенев сдержанно воспринимал аттестации, которыми Дружинин и Григорович награждали Чернышевского в свой майский приезд в тургеневское имение Спасское-Лутовиново. Более того, он даже вступался за Чернышевского, как это явствует из письма к Григоровичу от 10 июля: «Я имел неоднократно несчастье заступаться

²² Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960–1968. Письма. Т. II. С. 565.

²³ Подробнее см.: Егоров Б. Ф. Дружинин Александр Васильевич // Русские писатели: XIX век: Библиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. П. А. Николаева. М., 1996. Ч. 1. С. 262.

²⁴ Тургенев И. С. Письма. Т. II. С. 287.

²⁵ Там же. С. 290.

перед Вами за пахнущего клопами (иначе я его теперь не называю) — примите мое раскаяние...»²⁶.

Из круга Тургенева один Боткин решился возразить Тургеневу, хотя и вынужден был подобную защиту квалифицировать не иначе как «дикой странностью». «В ней,— писал Боткин 10 июля о книге Чернышевского,— очень много умного и дельного. Дико только его определение искусства как „суррогата действительности“. Но неоспоримо и то, что прежние понятия об искусстве — очень обветшали и никуда не годятся, вследствие изменения нашего взгляния на природу и действительность. Вдумайся в это, и ты сам согласишься хотя в том, что прежние определения искусства, в которых мы воспитались,— крайне неудовлетворительны... По мне, большая заслуга Чернышевского в том, что он прямо коснулся вопроса, всеми оставляемого в стороне. С самого начала реальной школы — вопрос был решен против абсолютного значения искусства. Прежде противопоставляли природу и искусство; теперь природа стала фундаментом искусству... Что такое собственно поэзия, как не прозрение в сокровеннейшую сущность вещей?, т. е. действительности»²⁷. Ответ Тургенева очень важен для характеристики его отношений к Чернышевскому в момент резкой критики эстетической позиции молодого журналиста. Письмо адресовано Боткину и Некрасову 25 июля. «Что же касается до книги Чернышевского,— пишет Тургенев, обращаясь к Боткину,— вот главное мое обвинение против нее: в его глазах искусство есть, как он сам выражается, только суррогат действительности, жизни — и в сущности годится только для людей незрелых. Как ни вертись, эта мысль у него лежит в основании всего. А это, по-моему, вздор.— В действительности нет шекспировского Гамлета — или, пожалуй, он есть — да Шекспир открыл его — сделал достоянием общим. Чернышевский много берет на себя, если он воображает, что может сам всегда дойти до этого сердца жизни, о котором ты говоришь.— Воображаю я его себе извлекающим поэзию из действительности для собственного обихода и препровождения времени! Нет, брат, его книга и ложна и вредна»²⁸. Как видим, заявления Боткина о за-

²⁶ Там же. С. 293.

²⁷ В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851–1869. М.; Л., 1930. С. 61–62

²⁸ Тургенев И. С. Письма. Т. II. С. 300–301.

слуге Чернышевского, опровергнувшего философское обоснование абсолютного значения искусства, Тургенев не отрицает. Его возмутила формула «искусство — суррогат действительности, жизни», не приемлемая и для Боткина. Но если Боткин не распространяет суждение о суррогате на всю систему эстетических взглядов автора, то Тургенев придает этой формуле более расширительное значение. И тогда в его глазах Чернышевский — враг искусства, и Боткин, всегда настороженно воспринимавший идеологические позиции Чернышевского, уже не видит надобности возражать Тургеневу²⁹. Упреки Тургенева и Боткина по поводу определения искусства как суррогата действительности были справедливыми, поскольку воспринимали этот тезис в контексте прямолинейных сравнений автором диссертации искусства (поэзии) с учебным пособием, задача которого «приготовить к чтению источников и потом от времени до времени служить для справок» (ПСС. Т. II. С. 87). Подобные аналогии и определения приижали значение искусства, ограничивали его равноправие (сравнительно с наукой) в познании жизни. Но в polemическом пылу Тургенев допускает преувеличения, прияя к выводу о враждебности Чернышевского к искусству.

В то же время Тургеневым не оспариваются философские позиции Чернышевского, сразу отмеченные Боткиным. Пройдет всего месяц, и Тургенев уже не будет вспоминать о слабых сторонах теоретических выводов Чернышевского-эстетика. Деятельность Чернышевского-критика, призывающего литераторов к критическому взгляду на изображаемую русскую действительность (этим пафосом пронизана вся его диссертация), получит у Тургенева оправдание и поддержку. Единство позиции Чернышевского как эстетика и литературного критика откроется ему в горячей защите гоголевского направления. Не соглашаясь с Чернышевским в определении роли Пушкина, Тургенев вместе с молодым критиком выступил за общественно активное искусство. Презрительное прозвище, прежде принятое, навсегда исчезнет из его писем. Тщетными оказались попытки Дружинина пробудить в нем былые филиппики против Чернышевского. «Наперекор своей любящей, незлобной натуре, облекающей золотушную Марью Николаевну <Толстую> в поэтический ореол

²⁹ В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. 1851–1869. М.; Л., 1930. С. 69.

и пахнущего клопами в кожу Питта, Тургенев,— раздраженно замечает Дружинин в письме к Боткину от 19 августа 1855 г.,— желает во что бы то ни стало быть обличителем общественных ран и карателем общественных пороков»³⁰.

Тургеневу импонировала гражданская позиция Чернышевского, но, как и Боткин, он порою отказывал ему в собственно художественном вкусе. И когда Боткин предложил весной 1856 г. заменить Чернышевского А. А. Григорьевым («он во всем несравненно нам ближе Чернышевского»,— убеждал Боткин Некрасова в письме от 19 апреля³¹), Тургенев готов был принять участие в переговорах. Находясь проездом в Москве, Тургенев сообщал Некрасову, что вечером 5 мая намерен встретиться с Григорьевым и о результатах беседы напишет особо³². Ни тургеневского, ни некрасовского письма мы не знаем, но переход Григорьева в «Современник» не состоялся. Точно так же Некрасов предпочел Чернышевского Дружинину.

В полемику 1855–1856 гг. включился и Л. Н. Толстой, не скрывавший своей антипатии к Чернышевскому, его эстетике, призывающей к критическому восприятию русской действительности, противопоставляя этим призывам свою теорию «любящего человека». «Нет,— пишет Толстой Некрасову 2 июля 1856 г.,— Вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина из Вашего союза. Тогда бы можно было надеяться на критику в „Совр*еменнике“}, а теперь срам с этим господином. Его так и слышишь тоненький, неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более от того, что говорить он не умеет и голос скверный»³³.*

Некрасов не оставил выпады Толстого без ответа. Он подчеркнул отвлеченно-нравственный ход рассуждений о «любящем человеке»: «Вам теперь хорошо в деревне, и Вы не понимаете, зачем злиться; Вы говорите, что отношения к действительности должны быть здоровые, но забываете, что здоровые отношения могут быть только к здоровой действительности. Гнусно притворяться злым, но я стал бы на колени перед человеком, который

³⁰ Письма к А. В. Дружинину (1850–1863) // Летописи Гослитмузея. М., 1948. Кн. 9. С. 41.

³¹ Голос минувшего. 1916. № 10. С. 93.

³² Тургенев И. С. Письма. Т. II. С. 347.

³³ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. (юбил. изд.). Т. 60. С. 74–75.

лопнул бы от искренней злости — у нас ли мало к ней поводов? И когда мы начнем больше злиться, тогда будет лучше, — то есть больше будем любить — любить не себя, а свою родину». Слова Некрасова — лучшее объяснение, какое Толстой мог бы в то время получить от кого-либо. Разъясняя, Некрасов избирает один из вернейших способов в полемике — направляет аргументы высказывающего против него самого: «Мне досадно, что Вы так браните Чернышевского. Нельзя, чтоб все люди были созданы на нашу колодку. И коли в человеке есть что хорошее, то во имя этого хорошего не надо спешить произносить ему приговор за то, что в нем дурно или кажется дурным. Не надо также забывать, — прибавляет Некрасов, — что он очень молод, моложе всех нас, кроме Вас разве»³⁴. Возмущение Толстого Чернышевским и в самом деле противоречило теории «любящего человека». Некрасов не отрицает излишней категоричности в критических суждениях Чернышевского, но «злость» критика возникает вовсе не от человеконенавистничества, она оправдана его принципиальной гражданской позицией.

С письмом Некрасова можно соотнести фразу, появившуюся в записной книжке Толстого между июлем и сентябрем 1856 г.: «Гражд^аанская злоба нехороша, потому что отрешаешься от возможности всякой деятельности. Негодуй на зло деятельно только тогда, когда с ним прямо столкнулся. Все делаем навыворот, упрекаем человека, когда он раздражен. Он не согласится»³⁵. Мысль о «злобе» у Толстого неизменно обращена только в нравственную сферу. «Гражданская злоба» (эстетический аналог в диссертации Чернышевского — приговор явлениям действительности) — понятие социальное у Некрасова и Чернышевского. Оно прежде всего означает критическое отношение ко всей государственной системе крепостничества и должно обуславливать нравственность. Подобная трактовка задачи искусства не занимает Толстого. Его интересует, как конкретно должен вести себя человек, столкнувшийся с несправедливостью — «негодуй на зло деятельно», иначе ты лишь притворяешься возмущенным и сознательно уходишь от дела. Примерно о том же писал Толстой Е. П. Ковалевскому 1 октября 1856 г.: «Даже

³⁴ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем.: В 12 т. М., 1948–1953. Т. X. С. 284.

³⁵ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 195.

ежели человек искренно возмущен, так был несчастлив, что все наталкивался на возмутительные вещи (о том, что возмутителен сам государственный строй, Толстой и не думает — А. Д.), то одно из двух: или, ежели душа не слаба, действуй и исправь, что тебя возмущает, или сам разбейся, или, что гораздо легче и чему я намерен держаться, умышленно ищи всего хорошего, доброго, отворачивайся от дурного, а право, не притворяясь, можно ужасно многое любить не только в России, но у самоедов». Чернышевского Толстой, несомненно, относит к ряду людей, которые «притворяются возмущенными и поэтому считают себя вправе не принимать деятельного участия в жизни»³⁶.

«Умышленно ищи всего хорошего, доброго, отворачивайся от дурного» — эта нравственная программа вполнеозвучна «артистической» теории искусства Дружинина, призывающего к примирению с жизнью. Видя в Толстом единомышленника, Дружинин в письме от 6 октября 1856 г., имея в виду «Современника», советовал ему взять (вместе с Тургеневым и Островским) «контроль над журналом и быть его представителями», но не приниматься за дело «круто» и «до времени» терпеть «безобразие Чернышевского»³⁷. В ответном письме Толстой пока не затрагивал тему давления на редакцию «Современника», но повод задеть Чернышевского не упустил: «Безобразие Чернышевского, как вы называете, все лето тошнит меня»³⁸. Речь идет, конечно, об «Очерках гоголевского периода русской литературы», утверждавших жизненность сатирического, отрицательного направления в отечественной словесности и в известной степени являвшиеся продолжением идей диссертации об эстетике.

По возвращении в Петербург из Ясной Поляны в ноябре 1856 г. Толстой поддерживает самые близкие отношения с Дружининым, Боткиным, Анненковым — «бесценный мой триумвират»³⁹, и в его письмах к Некрасову, как тот сообщал о них Тургеневу, которому Толстой писал о неуместном следовании Чернышевского Белинскому, выпады против Чернышевского не прекращались. «Панаева он не любит», осуждает в голос с Дружининым статьи Чернышевского, требуя для «Современника» «нового направле-

³⁶ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 60. С. 90.

³⁷ Письма к А. В. Дружинину. С. 305.

³⁸ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 60. С. 93.

³⁹ Там же. С. 153.

ния». «Но есть ли другое — живое и честное, кроме обличения и протеста? — комментируя Толстого писал Некрасов. — Его создал не Белинский, а среда, оттого оно пережило Белинского, а совсем не потому, что „Современ^{ник}“ — в лице Чернышевского — будто бы подражает Белинскому». «Больно видеть,— заключал Некрасов,— что Толстой личное свое нерасположение к Чернышевскому, поддерживающее Дружин^{иных} и Григоров^{ичем}, переносит на направление, которому сам доныне служил и которому служит всякий честный человек в России»⁴⁰.

Однако постепенно прежние мнения о Дружинине начинают подвергаться у Толстого переоценке. 7 ноября он записывает в дневнике, что ему «немного тяжело» с Дружининым. «Все мне противны, особ^{енно} Др^{ужинин}», — записывает он 13 ноября, — и противны за то, что мне хочется любить, дружбы, а они не в состоянии». 15 ноября: «Собрание литер^{аторов} и учен^{ых} противно»⁴¹. В дневнике есть и другие записи (с Дружининым «приятно», «велик» и т. д.), но теперь суждения о нем отнюдь не были сплошным панегириком. Предупреждение Тургенева — «только, смотрите, не объешьтесь и его» (письмо от 8 декабря о Дружинине)⁴² — легло на подготовленную почву. После прочтения направленной против Чернышевского статьи Дружинина «Критика гоголевского периода и наши к ней отношения» записано: «Его слабость; что он никогда не усомнится, не вздор ли это все»⁴³. Запись сделана 7 декабря — возможно, под свежим впечатлением от девятой (завершающей) статьи «Очерков гоголевского периода русской литературы», в которой Чернышевский развивал мысли Белинского о коренных связях литературы с обществом и в которой показана беспочвенность притязаний защитников «так называемого чистого искусства». В действительности «они,— писал автор „Очерков“, — заботятся вовсе не о чистом искусстве, независимом от жизни, а, напротив, хотят подчинить литературу исключительно суждению одной тенденции, имеющей чисто житейское значение», поскольку «есть люди, для которых общественные интересы не существуют, которым известны только личные наслаждения и

⁴⁰ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. X. С. 308.

⁴¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 98, 99, 100.

⁴² Тургенев И. С. Письма. Т. III. С. 54.

⁴³ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 47. С. 104.

огорчения, независимые от исторических вопросов, движущих обществом» (ПСС. Т. III. С. 299–300). Призывы Дружинина противодействовать «дидактическому искусству» в пользу искусства «артистического», «свободного» ослабевали на фоне аргументов Чернышевского. По мысли Толстого, декларации Дружинина — «вздор». Пропагандируемая Дружининым теория предписывает свои правила, она так же стесняет художника, как и любые другие ненавистные Толстому «постулаты и категорические императивы». С этой точки зрения неприемлема и позиция Чернышевского. Приведенная выше запись в дневнике («не вздор ли это все»), вероятно, распространялась на содержание полемики Чернышевского с Дружининым в целом. Оба — «категорические императивы». Но все же рассуждения Чернышевского о социальной природе искусства в известной мере близки к выводу, к которому Толстого привел собственный писательский опыт: «Никакая художническая струя не увольняет от участия в обществе⁴⁴ жизни» (запись в дневнике от 14 октября 1856 г.)⁴⁴. Поэтому мы вправе заключить, что объяснения Некрасова в защиту Чернышевского не могли пройти бесследно, хотя появившиеся в отношениях к Дружинину критические нотки еще не означали сближения Толстого с редакцией «Современника» и с Чернышевским в частности⁴⁵.

Рассмотренные материалы служат некоторым комментарием к позднейшим обращениям критиков к обсуждению в литературе середины 1850-х гг. эстетических идей Чернышевского.

Второе издание диссертации Чернышевского 1865 г. вызвало не менее жаркие споры, но состав участников был иной. Сторонников «тенденциозного» (« utilitarного ») искусства, возводимого к идеям «Эстетических отношений искусства к действительности », представляли сотрудник «Современника» М. А. Антонович, публицисты «Русского слова» Д. И. Писарев и В. А. Зайцев. «Чи-

⁴⁴ Там же. С. 95.

⁴⁵ Подробнее на тему «Чернышевский и Толстой» см., напр.: Чуприна И. В. Трилогия Толстого «Детство», «Отрочество» и «Юность». Саратов, 1961; Егоров Б. Ф. Дополнение к теме «Чернышевский и Л. Толстой» // Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1962. Вып. 3; Николаев М. П. Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский. Тула, 1969; Эйхенбаум Б. М. Толстой в «Современнике» (1856–1857) // Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974.

стое» искусство («искусство для искусства») защищал Н. И. Соловьев и другие, менее заметные критики.

Первая группа полемистов объявила себя прямыми наследниками учения Чернышевского,— главных оснований, по словам Зайцева, «того взгляда на искусство и отношение его к действительности, которому мы следуем»⁴⁶. Однако на деле оказывалось, что это было не простое следование своему учителю, а своеобразная трактовка определенных тезисов его эстетики, не лишенная категоричности и крайностей.

Философский позитивизм в качестве мировоззренческой основы этого поколения шестидесятников с их опорой на вульгарный материализм популярных в ту пору Фохта, Бюхнера и Молешотта определял их отношение к литературе и к искусству в целом.

Так, Писарев, цитируя из Чернышевского слова о характере нового направления в науке, связанного с «уважением к действительной жизни» и необходимости привести «к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике», заявил: «если еще стоит говорить об эстетике — оговорка очень замечательная!.. Автор, разумеется, имел в виду не основание новой, а только истребление старой и вообще всякой эстетической теории», а в основополагающей формуле «прекрасное есть жизнь...» увидел определение до такой степени широкое, что «в нем совершенно тонет и исчезает то, что называется красотою»⁴⁷. И если Антонович в «Современнике» еще пытался, не исказяя мыслей Чернышевского, акцентировать в новых условиях лишь призывы к социальной значимости искусства, создания которого «пусть вызывают и будят общество к благородной, разумной и самоотверженной деятельности»⁴⁸, то Писарев и Зайцев, осуждавшие в позиции Антоновича признание эстетики как науки, своим знаменем выставили «разрушение эстетики», причем Писарев в целях усиления программности этого лозунга выставил его названием своей статьи 1865 г., ставшей откликом на второе издание диссертации Чернышевского. Словами «если еще стоит говорить об эстетике» Чернышевский действительно резко критически оценивал значение «старой» эстетики, обслуживающей

⁴⁶ Зайцев В. А. Избр. соч.: В 2 т. М., 1934. Т. 1. С. 328.

⁴⁷ Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1955–1956. Т. 3. С. 420, 422.

⁴⁸ Антонович М. А. Литературно-критические статьи. М.; Л., 1961. С. 286.

теорию «искусства для искусства» но вовсе не «истребление... вообще всякой эстетической теории», как уверял Писарев.

В статье «Разрушение эстетики» Писарев «достаточно далеко ушел от эстетических концепций Чернышевского»⁴⁹, еще дальше ушел от них Зайцев, утверждавший полную бесполезность произведений художественной литературы, если они не могли быть переведены в социально-политическую плоскость. В своих истолкованиях «пользы» Зайцев договаривается до самых крайних заявлений. «Лучшие театральные пьесы, пьесы Мольера, Шекспира, Шиллера и др., все-таки не приносят никакой пользы», — писал он, например, в статье «Драмы Эсхила» (1864)⁵⁰. Именно в эту пору рождается анекдотическая формула «сапоги важнее Шекспира», которая доживет до конца XIX в. и в рассуждениях Вл. С. Соловьева приобретет символ эстетической глупоты и невежества.

Происхождение этой формулы помогает понять контекст восприятия эстетики Чернышевского в середине 1860-х годов, явившись, как можно думать, контаминацией нескольких высказываний. Первоисточником следует считать высказывание В. А. Зайцева о Пушкине, Шекспире и вообще поэтах: «В самом деле, довольно для поэтов и того, что им поклонялись в течение стольких столетий со времен старца Гомера. Пора пропретвиться и увидеть громадную несоразмерность между пользой, приносимой поэзией обществу, и наградой, которую она получает, пора понять, что всякий ремесленник настолько же полезен любого поэта, насколько всякое положительное число, как бы мало не было, больше нуля»⁵¹. Зайцевский пассаж не оставил без внимания Ф. М. Достоевский. В своей памфлетной статье «Господин Щедрин, или Раскол в нигилистах» он, полемизируя с «Современником», ударили и по «Русскому слову»,циальному выпадами против Пушкина. Слово «ремесленник» Достоевский связал с сапожным делом: «Отселе вы должны себе взять за правило, что сапоги во всяком случае лучше Пушкина, потому что без Пушкина очень можно обойтись, а следственно Пушкин — роскошь и вздор»⁵².

⁴⁹ Егоров Б. Ф. Борьба эстетических идей в России 1860-х годов. Л., 1991. С. 129.

⁵⁰ Зайцев В. А. Указ. изд. С. 307.

⁵¹ Русское слово. 1864. № 3. Библиографический листок. С. 64.

⁵² Эпоха. 1864. № 5. С. 281; Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1972–1991. Т. XX. С. 109, 327.

Что Достоевский имел в виду выписанные нами слова Зайцева, доказывается упоминанием в статье о Щедрине Гомера и Шекспира. Одновременно с Достоевским выступление Зайцева встретило едкий комментарий в статье «Юбилей Шекспира». Отчет о литературно-музыкальном вечере, проведенном в Петербурге в честь 300-летия со дня рождения писателя, автор, процитировав Зайцева и расценивая его умозаключение в качестве «подарка» к юбилею, завершал следующей фразой, по-своему интерпретируя слово «ремесленник»: «Итак, нет такого полотера, нет такого золотаря, который не был бы полезнее Шекспира в бесконечное множество раз»⁵³. Формула «сапоги важнее Шекспира» сложилась, таким образом, на основе выражений Зайцева — «всякий ремесленник полезнее любого поэта», Достоевского — «сапоги лучше Пушкина» и боборыкинского журнала — «полотер полезнее Шекспира». Но в окончательном виде принадлежит автору редакционной заметки (скорее всего, С. С. Дудышкину) по поводу переиздания диссертации Чернышевского в 1865 г. Читаем: «Грустное впечатление производит это второе издание „Эстетических отношений“. И нужно бы сказать, что теория сапогов, которые лучше Шекспира, а также много других положений, теперь совершенно ясных, кроются в упомянутом нами сочинении, как принципы еще несмелые и едва появившиеся на свет Божий — но мы отлагаем до другого раза»⁵⁴.

«Эстетики», как презрительно называли приверженцев эстетики Писарев и Зайцев, пытались возразить «отрицателям» из «Русского слова». Н. И. Соловьев взял под защиту Пушкина, эстетику, всё искусство, к гонителям которого он приравнял и Чернышевского, не делая разницы между его диссертацией и антиэстетическими статьями Писарева и Зайцева. Такое неразличение снижает объективность Н. И. Соловьева в оценке диссертации Чернышевского, хотя он высказал немало справедливого по отношению к своим оппонентам-писаревцам. Полемику с Чернышевским по существу основных эстетических категорий (например, категории прекрасного) он вел с позиции немецкого философского идеализма и потому не был оригинален, оставаясь в рамках традиционного неприятия системы взглядов автора «Эстетических отношений» искусства к действительности».

⁵³ Библиотека для чтения. 1864. № 5. Общественные заметки. С. 34 (автором был, вероятнее всего, редактор журнала П. Д. Боборыкин).

⁵⁴ Отечественные записки. 1865. № 3. Литературная летопись. С. 77.

Издание 1865 г. явилось своего рода поводом «снова задать свои вопросы теории, которая столь явно вызывала интерес всех направлений русской общественной мысли»⁵⁵.

Точно таким же «поводом» стало третье издание диссертации в составе сборника статей Чернышевского «Эстетика и поэзия» (СПб., 1893), изданного без имени автора его сыном М. Н. Чернышевским как третий том небольшого собрания сочинений: «Очерки гоголевского периода русской литературы» (СПб., 1892), «Критические статьи» (СПб., 1892). Как и в прежние десятилетия, текст Чернышевского вызвал резкие нападки его противников, которые никак не могли помириться с опровержением эстетической системы, подтверждавшей, по уверению спорящих, теорию «искусства для искусства».

«Единственное назначение искусства — заставить полюбить искусство», — декларировал С. Волконский⁵⁶. В следующей своей статье, призванной опровергнуть аргументацию Чернышевского-эстетика, с удовлетворением отмечалось, что «сторонники чистого искусства становятся все многочисленнее»⁵⁷. Ряды таких сторонников пополнило имя П. Д. Боборыкина, безусловно поддержавшего Волконского и возвестившего, что диссертация Чернышевского с ее опорой на «лжереалистические принципы» «затормозила дальнейшее научно-эстетическое движение нашей художественной критики»⁵⁸, что «критики-моралисты» должны наконец «уступить место тем, для кого искусство — не средство, а цель»⁵⁹.

С этими критиками Чернышевского сближался А. Л. Волынский, в ту пору один из видных представителей философского идеализма в эстетике. По его заверениям, автор «Очерков гоголевского периода русской литературы» напрочь лишен «оригинального критического таланта», «нет ни знания, ни понима-

⁵⁵ Кантор В. «Средь бурь гражданских и тревог...»: Борьба идей в русской литературе 40–70-х годов XIX века. М., 1988. С. 211.

⁵⁶ Кн. Сергей Волконский. Художественное наслаждение и художественное творчество // Вестник Европы. 1892. № 6. С. 701.

⁵⁷ Кн. Сергей Волконский. Искусство и нравственность. Очерк // Вестник Европы. 1893. № 4. С. 622.

⁵⁸ Боборыкин П. Красота, жизнь и творчество. Статья первая // Вопросы философии и психологии. 1893. Январь. Кн 1 (16). С. 107.

⁵⁹ Там же. Статья вторая // Вопросы философии и психологии. 1893. Март. Кн 2 (17). С. 62.

ния Гегеля», «когда во главе литературы становятся люди с таким миросозерцанием, можно сказать с уверенностью: онашибко пойдет на убыль. Когда руководить развитием общества бе-рутся люди, робеющие перед отвлеченными критикреями, можно смело предсказать: общество потеряет, по крайней мере на некоторое время, чутье к истине»⁶⁰. Чернышевский «совер-шенно не владел теми эстетическими взглядами, без которых невозможны настоящие литературные оценки сколько-нибудь значительных литературных произведений», он прямой пред-шественник Писарева⁶¹.

Вл. С. Соловьев в письме к Л. Я. Гуревич, издательнице жур-нала «Северный вестник», выразил недоумение по поводу поле-тических выпадов Волынского против Чернышевского: «...Нис-колько не сочувствую его идеям, я полагаю, однако, что постигшая его судьба не позволяет давать ему щелчков хотя бы даже за непонимание Гегеля. Понимать Гегеля никто не обязан, но уважать исповедничество идеи и жертву ценою жизни обяза-тельно для всякого»⁶².

Замечание Вл. С. Соловьева было частично учтено. В рецен-зии на очередной том сочинений Чернышевского с включен-ным сюда текстом его диссертации Волынский, не снижая рез-кости в оценках, квалифицировал ее как «целую программу войны против искусства», как «самый сжатый кодекс русского утилитаризма, самое яркое выражение начавшегося умствен-ного декаданса», но и добавлено: на ее страницы «история на-ложила печать благородного страстотерпчества, рыцарской че-стности и редкой нравственной порядочности. Она точно прикрыла обаянием человеческого подвига литературную ложь»⁶³. И все же выпуская спустя три года книгу о русских критиках, Волынский снял слова о «литературной лжи». На этот раз он признает за Чернышевским «литературный талант,

⁶⁰ Волынский А. Литературные заметки // Северный вестник. 1892. № 10. Отд. второй. С. 131, 140.

⁶¹ Волынский А. Литературные заметки // Северный вестник. 1893. № 1. Отдел второй. С. 131, 132–133.

⁶² Соловьев В. Статьи и письма / Сост. Р. Гальцевой // Новый мир. 1989. № 1. С. 227.

⁶³ Волынский А. Литературные заметки // Северный вестник. 1893. № 3. Отдел второй. С. 125.

живой темперамент, начитанность в различных вопросах истории и эстетики»⁶⁴, и продолжает полемику с ним, но уже с учетом опубликованной в 1894 г. статьи Вл. С. Соловьева в защиту основополагающих идей автора «Эстетических отношений искусства к действительности».

Вл. С. Соловьев дал бой современным защитникам «искусства для искусства», определяя их позицию понятием «эстетического сепаратизма». Его выступление в защиту основных принципов эстетики Чернышевского по своей внезапности появления напоминает поступок В. П. Боткина 1855 г., совершенный так же нежданно посреди шквального осуждения.

Критик посчитал принципиально важным поддержать исходный пункт эстетической системы Чернышевского: искусство находится в существенных связях с другими человеческими деятельностями. Он разделяет полемику с гегелевским определением прекрасного в трактовке Чернышевского, принимает вывод, что красота в природе имеет объективную реальность, принимает и утверждение, что существующее искусство есть лишь слабый суррогат действительности — «*эти тезисы останутся*». Слово «суррогат» не вызывает у него недоверия, как в свое время у Тургенева или Боткина. Дело в том, что оно изъято Вл. С. Соловьевым из прежнего состава рассуждений об искусстве как учебного пособия и включено в более широкую философскую перспективу понимания искусства, служащего общим жизненным целям человечества.

Полагая иные разъяснения автора диссертации наивными, спорными или голословными («я вовсе не закрываю глаза на многие его частные недостатки, ни на общую неполноту представляемого им воззрения») Вл. С. Соловьев напоминал: «Не нужно забывать, что это — юношеская диссертация». В этой связи уместно вспомнить, что Чернышевский, намереваясь в 1888 г. выпустить диссертацию очередным изданием, начал было исправлять текст, но оставил работу, сохранив лишь мелкие поправки и объяснив в своем предисловии к этому так и не состоявшемуся третьему изданию, что «в старости не годится переделывать то, что написано в молодости» (ПСС. Т. II. С. 126).

Коснулся Вл. С. Соловьев и вопроса о соотношении эстетики Чернышевского и философии Фейербаха.

⁶⁴ Волынский А. Л. Русские критики. С. 744.

Сам Чернышевский намеками в 1855 г., а в «Предисловии к третьему изданию» напрямую разъяснял, что его диссертация «попытка применить идеи Фейербаха к разрешению основных вопросов эстетики. Автор не имеет ни малейших претензий сказать что-нибудь новое, принадлежащее лично ему. Он желал только быть истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике» (ПСС. Т. II. С. 121). «Предисловие» впервые было напечатано в 1906 г. в составе первого Полного собрания сочинений. Но Вл. С. Соловьеву было ясно, о каких новых направлениях в науке трактовал автор диссертации, и, кроме того, ему, благодаря А. Н. Пыпину и М. Н. Чернышевскому, были известны письма Чернышевского из Сибири с высказываниями о приверженности философии Фейербаха. Определенные выводы в этом плане следовали также из статьи Чернышевского «Антропологический принцип в философии» (1860) и прямых аллюзий в романе «Что делать?». Незавершенность разработки Чернышевским крупно и верно поставленных вопросов эстетики Вл. С. Соловьев отнес на счет стеснения пределами «особого философского кругозора» — «он был в то время крайним приверженцем Фейербаха».

На эту тему более развернуто рассуждали В. В. Зеньковский и Г. Г. Шпет.

Зеньковский, называя статью Вл. С. Соловьева «очень ценной» («был прав в своей высокой оценке диссертации Чернышевского»), разделяет мысль о «стеснении», придав ей несколько иной поворот. «...И в гуманизме Чернышевского, — замечает он, — и в его религиозно-бережном отношении к „естественному“ человеку, бесспорно, отразилось влияние Фейербаха. Но то, что выразил Чернышевский в своей диссертации, шире и глубже того религиозного культа человека, который был у Фейербаха», поскольку, говорит Зеньковский со ссылками на С. Н. Булгакова и Н. А. Котляревского, эстетика Чернышевского создана для прославления человека как самого художественного создания природы, и здесь автор диссертации сближается с Руссо. Вывод Зеньковского: «...Эстетика Чернышевского, защищая реальность красоты или — точнее говоря — возвышая красоту реальности над красотой в искусстве, открывает новые перспективы для философской эстетики. Эстетический гуманизм Чернышевского включил в себя те веяния религиозного имманентизма, которые дали богатые и яркие отражения в эстетических исследованиях

русских художников и мыслителей уже в XX-ом веке, но эстетический гуманизм Чернышевского другими своими сторонами приближается к Достоевскому и к Соловьеву».

Следует в будущем более основательно изучить наблюдения Зеньковского (выпавшие по известным идеологическим причинам из поля зрения исследователей), чтобы, наконец, не сводить заслугу Чернышевского к установлению классового подхода в понимании прекрасного, как это многие десятилетия трактовалось в работах об эстетике Чернышевского, а возвести ее к принципам общечеловеческого, эстетического гуманизма.

На этом фоне создается особый комментарий к попытке Г. Г. Шпета по-своему оспорить фейербахианство Чернышевского. Достоинство работы философа — в тщательнейшем, до него никем не производившемся анализе всех материалов, касающихся знакомства Чернышевского с трудами Фейербаха. Судя по обширности замысла рукописи Шпета, оставшейся незавершенной и не опубликованной при его жизни, он впервые приступил к исследованию философских источников докторской диссертации Чернышевского, и многие из наблюдений над творческой историей докторской диссертации не потеряли ценности. Не возникает сомнений в актуальности продолжения этой работы, которую, наконец, стоило бы осуществить вполне.

Однако предложенные Шпетом результаты нуждаются в пояснении. Прежде всего, бросаются в глаза несдержаный тон и крайность оценок. Причины, вероятнее всего, во времени написания статьи, создававшейся в пору возведения Чернышевского, начиная с юбилейного 1928 г.⁶⁵, в ранг мыслителя, официально признанного властью одним из главных своих идейных предшественников. Чего стоило, например, максимальное сближение Ю. М. Стекловым, автором солидной монографии о Чернышевском, его взглядов с учением К. Маркса. По мнению Стеклова, «от системы основателей современного научного социализма мировоззрение Чернышевского отличается лишь отсутствием систематизации и определенности некоторых терминов». Даже В. И. Ленин, называвший Чернышевского одним из

⁶⁵ См., напр.: Нечкина М. В. Накануне юбилея Н. Г. Чернышевского // Историк-марксист. 1928. Т. 8. С. 173–179; Она же. Юбилейная литература о Чернышевском // Историк-марксист. 1928. Т. 10. С. 211–221.

своих идейных учителей, на полях первого издания книги Стеклова 1909 г. страницу со столы неумеренным сопоставлением пометил замечанием «чересчур»⁶⁶. Ленинская пометка в ту пору не попала в печать, но это «чересчур» ощущалось всеми, кто обращался к тогдашним официозным оценкам Чернышевского. Подобное безмерное восхваление, не имеющее ничего общего с объективным изучением наследия, вызывало негативную реакцию не у одного Шпета. Те же настроения неприятия наверняка возникали и у В. В. Набокова, сознательно пошедшего в романе «Дар», создаваемого в тридцатые годы, на злой шарж в написании биографии «советского» Чернышевского. Но одно дело роман, другое — научная работа с ее выверенной системой аргументации.

Шпет полагает, что Чернышевский, постоянно называвший себя последователем Фейербаха, или не понимал немецкого философа, или вследствие ослабления памяти в период написания «Предисловия к третьему изданию» диссертации в 1888 г. искал позицию Фейербаха, вовсе не предполагавшего наступившего будто бы, по уверению Чернышевского, процесса замены философии как науки естествознанием. Действительно, определенные неточности в передачи слов Фейербаха Чернышевский и мог допустить. Какие-то мелкие промахи есть и у самого Шпета (см. примеч. к его статье в наст. изд.). Но в конечном счете дело не в подробностях, а в том развитии идей Фейербаха, которое, как показали Вл. С. Соловьев и В. В. Зеньковский, привело Чернышевского к созданию новой концепции человека.

Эта концепция имеет прямую связь со статьей Чернышевского «Антropологический принцип в философии», привычно рассматриваемой в качестве философской основы эстетики Чернышевского. Статья вызвала критический отклик П. Д. Юркевича, последовала ответная реакция в «Полемических красотах», позднее возникла целая философская и критическая литература по поводу этого спора, в которой до сего времени преобладает в основном односторонняя оценка, данная советской философской историографией и сводящаяся к безусловным выводам о правоте Чернышевского. Помещаемые в Антологии материалы contra побуждают к новым исследованиям, не отягченным идеологической скованностью.

⁶⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. М., 1969. Т. 29. С. 582.

Так, Н. А. Бердяев, не вдаваясь в аргументацию, обобщал: «Он боролся за человека против власти общества над человеческими чувствами. Но мышление его оставалось социальным, у него не было психологии и не было метафизической глубины человека в его антропологии. Статья «Антропологический принцип в философии», навеянная Фейербахом, была слабой и поверхностной»⁶⁷.

Детальнее рассматривает позицию Чернышевского В. В. Зеньковский, также справедливо связывая ее с отвечавшим общим тенденциям той эпохи позитивизмом, который, по его мнению, в «Антропологическом принципе...» сказался существеннее и определенное, сравнительно с другими сочинениями, включая и диссертацию. Отметим, что в определении природы позитивизма Чернышевского Зеньковский пытается быть объективным и точным. Он против безоговорочной приписки автора «Антропологического принципа...» к позитивистам, которые полагают недоступным для познания всего, что находится за пределами опыта. Чернышевский, по Зеньковскому, «очень резко» высказывается против такого позитивистского утверждения, он «не хочет ставить никаких границ познанию» и потому «верен духу „научного построения философии“, защищая право науки на гипотезы». Позитивизм Чернышевского иного происхождения, «он подчиляет область „нравственного“, то есть все вопросы духовного порядка, тем принципам, которые господствуют в сфере физико-химических процессов».

Заметим при этом, что Зеньковский, как и Бердяев, как и первый критик статьи Чернышевского Юрьевич, сильные стороны провозглашенного здесь возврения на единство в человеке духовного и материального сводят к стремлению автора акцентировать именно физическое, материальное, «Чернышевский принципиально мыслит это единство в терминах биологизма, но с такими дополнениями в духе самого вульгарного материализма, которые очень близки к французским материалистам XVIII века». Конечно, критик прав, подчеркивая категоричность и прямолинейность формулирования Чернышевским ощущений и жизни вообще как многосложного химического процесса. Отсюда, замечает Зеньковский, происходит отпадение в антропологии Чернышевского всей философской проблематики. Но любопытно, что

⁶⁷ Бердяев Н. А. Русская идея. М., 2005. С. 625.

намного шире взглянул на проблему Вл. С. Соловьев, который сосредоточился не на очевидных слабостях воззрения Чернышевского, сказавшихся в его позитивизме и вульгарном материализме, а на сильных его сторонах, по сути, преодолевающих вульгарный материализм, поскольку обусловлены идеей понимания красоты и шире — всего человека «в существенной и внутренней связи со всем остальным содержанием жизни». Возвращая представителям «искусства для искусства», прибегшим к неопровергнутому аргументу, согласно которому искусство необходимо всему человечеству так же, как дыхание для отдельного человека, Вл. С. Соловьев пояснял, ничуть не смущаясь своих рассуждений «в терминах биологизма»: но «ведь и дыхание существенно зависит от кровообращения, от деятельности нервов и мускулов, и оно подчинено жизни целого; и самые прекрасные легкие не оживят его, когда поражены другие существенные органы». Главное — утверждение «жизни целого», в этом и заключается действительно философское содержание идеи, несмотря на то, что сам Чернышевский собственно философские рассуждения называл абстрактными, фантастическими, иллюзионистскими, метафизическим вздором, имея в виду, конечно, идеалистическую философию, с высоты которой и судят Чернышевского философы-идеалисты.

В этой связи интерес представляют выводы Зеньковского относительно определения материализма (антропологизма) Чернышевского. Солидаризируясь с разработками чешского историка философии Т. Масарика, он писал, что Чернышевский «является представителем *вульгарного материализма*, — в то время как материализм у Фейербаха — лишь предельный пункт его антропологизма». Примерно то же утверждал и Г. Г. Шпет в работе о диссертации Чернышевского, характеризуя учение немецкого мыслителя с точки зрения того, какой смысл имело обращение философа к естествознанию. По формуле Фейербаха, теология есть антропология и физиология⁶⁸. Следовательно, интерпретированный Чернышевским антропологический принцип не полностью вмещает содержание фейербахианской формулы, укорачивая ее за счет изъятия теологии.

Известное ленинское определение «...Узок термин Фейербаха и Чернышевского „антропологический принцип“ в философии.

⁶⁸ Фейербах Л. Избр. философ. произв.: В 2 т. М., 1955. Т. II. С. 515.

И антропологический принцип и натурализм суть лишь неточные, слабые описания *материализма*⁶⁹, выясняющее соотношение антропологии и материализма, заключает в себе, тем не менее, неразличение философской позиции обоих мыслителей. И хотя это различие не столь существенное, все же нельзя не учитывать, что философское творчество Чернышевского в целом, включая и его диссертацию, свидетельствует о более сложном пути развития мировоззрения. Признает и Зеньковский: у Чернышевского «мы находим все возрастающий культ человека и человечества». И далее шли слова о том, что концепция человека была у Чернышевского «шире и глубже того религиозного культа человека, который был у Фейербаха». В этом контексте статья «Антропологический принцип в философии» может рассматриваться как осознанное стремление автора уделить больше внимания именно объяснению физической организации человека, воспринимаемого в единстве явлений материального и нравственного порядка в нем.

Не обошла русская философская мысль и понимания Чернышевским историософских проблем. Говоря о решающем влиянии материальной стороны жизни народов на другие стороны этой жизни и тем самым проявляя материалистический взгляд на историю, Чернышевский в то же время, как это было замечено Плехановым, допускал чисто идеалистические объяснения, когда утверждал, что преимущества, например, испанской истории состояло в отсутствии разделения между сословиями, и будущее развитие Испании приурочивал к успехам просвещения. «Материализм чуть не на каждом шагу уступает в них место идеализму, и наоборот, причем окончательная победа все-таки достается идеализму», — писал Плеханов об исторических взглядах Чернышевского⁷⁰. В рамках просветительской парадигмы видит историософию Чернышевского и Зеньковский, подтверждающий, как и Плеханов, что «у Чернышевского попадаются иногда формулы, явно носящие характер идеалистический». Но если для Плеханова-материалиста это «главный недостаток» Чернышевского, то для идеалиста Зеньковского напротив — достоинство.

В пределах историософской проблематики принято говорить о бланкизме Чернышевского. Чаще всего об этом говори-

⁶⁹ Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 64.

⁷⁰ Плеханов Г. В. Избр. философ. произв.: В 5 т. М., 1958. Т. IV. С. 299.

ли или революционеры, пытавшиеся сделать имя Чернышевского своим знаменем, или защитники официоза, готовые в любых проявлениях оппозиции видеть призывы к революции, или деятели, доверившиеся тенденциозно составленным биографиям писателя с привлечением некритически усвоенных материалов, в том числе и воспоминаний современников. Справедливым представляется вывод В. В. Зеньковского: «Чернышевского часто и охотно стилизовали различные течения русского радикализма, но сам он был шире тех рамок, в которые его вставляли».

Вопрос действительно сложен. Чернышевский не отвергал исторической неизбежности революционных периодов — Европа и Америка давали многочисленные яркие примеры революционного пути развития. Но он всегда выступал против «прямолинейного революционерства» и призывал радикалов не спешить с восстаниями, которые, как убеждала история, чаще всего заканчивались напрасными жертвами. Он и сам в студенческую пору, увлеченный революционным движением во Франции, Германии и других европейских странах, однажды написал в своем дневнике, что желал бы революционного переворота и в России. «Теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше,— записывал он в январе 1850 г., имея в виду абсолютистский крепостнический режим; — пусть народ не подготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится... Вот мой образ мыслей о России: неодолимое ожидание близкой революции и жажда ее». Однако уже и тогда вместе с этой мыслью соединялось трезвое размышление о результатах желаемого краха монархии в России. Вслед за словами о «близкой революции» он замечает: «...Хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д.— что нужды?.. Без конвульсии нет никогда ни одного шага вперед в истории... Глупо думать, что человечество может идти прямо и ровно, когда это до сих пор никогда не бывало» (ПСС. Т. 1. С. 355–357).

Со временем убеждение в «неприготовленности» народа укрепилось. Чернышевский хорошо понимал неспособность крестьян, задавленных веками рабства, на сознательные политические выступления. Более того, крестьянское восстание может обернуться губительными последствиями для русского просвещения

и культуры. В запрещенной цензурой статье «Письма без адреса» (1862) Чернышевский, обращаясь к Александру II, писал, что «ожидаемой развязки» трепещут все общественные слои. «Не вы один, а также и мы желали бы избежать ее», поскольку справедливо негодующий народ, не удовлетворенный начавшейся аграрной реформой, в своей слепой ненависти «не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию» (ПСС. Т. X. С. 92).

«Стоять на почве науки», «быть верным истине», как выражался Чернышевский спустя много лет (ПСС. Т. XV. С. 167, 172), означало для него повернуться к человеку труда, озабочиться его интересами в экономической, политической и нравственной сферах. Глубоким демократизмом пронизаны все печатные труды Чернышевского, посвященные истории, философии, политической экономии, политике, педагогике, литературе. Он предпринял попытку создания «теории трудящихся», опираясь на которую можно было бы предвидеть ход общественного развития. Выход один: опираясь на народ, вовлекая его в прогрессивные реформы, оценивать свои действия с точки зрения заботы о его материальном благосостоянии. Значение получала политическая борьба за ослабление центральной власти, за свободу партий, которые на какое-то время могли обеспечить улучшение положения народа.

Страстное отстаивание права человека на уважение и общественное признание, на экономическое и политическое раскрытие одушевляло многостороннюю деятельность Чернышевского. Благодаря блестящему публицистическому дарованию, опирающемуся на глубокую образованность, Чернышевский в короткое время сделался «знаменитым», «самым крупным литературным талантом нынешней России» (А. И. Герцен), кумиром передовой молодежи, одним из идейных руководителей русского освободительного движения. По словам П. Б. Струве, «главное (и огромное) значение Чернышевского для его времени коренилось в том, что он был материалист и социалист, выливший свое теоретическое и практическое миросозерцание в столь соблазнительно ясные и решительные формулы, как никто ни до, ни после него» ⁷¹.

⁷¹ Струве П. Б. Patriotika: Политика, культура, религия, социализм. М., 1997. С. 187.

Чернышевский как мыслитель, политик и общественный деятель всегда оставался на позициях революционного демократизма, понимаемого, однако, не как призывы к революционному восстанию и участие в сочинении подпольных прокламаций. Чернышевский и сам употреблял понятие «революционный демократ» применительно, например, к характеристике политических симпатий Ж.-Ж. Руссо (Т. VII. С. 223), одного из наиболее последовательных в эпоху Просвещения пропагандистов демократических идей.

Философские взгляды Чернышевского и его концепция личности своеобразно преломились в романе «Что делать?». Плеханов, например, писал, что мысли, излагаемые в статье «Антропологический принцип в философии», где они доказываются с помощью логических доводов, нашли себе место и в романе «Что делать?», но в иной, образной форме⁷².

Факт допущения властями к печати произведения, написанного политическим узником Петропавловской крепости, до сих пор остается не вполне выясненным⁷³. В массе всеразличных отзывов о романе, со времени его опубликования в 1863 г. и на многие десятилетия поделивших читателей и ценителей на сторонников и противников⁷⁴, затерялись некогда слышимые, участвовавшие в общем движении голоса, впоследствии напрочь изъятые из обзоров и теперь включенные в наст. Антологию. Среди них большая статья А. М. Бухарева (архимандрита Феодора), отзыв знаменитого религиозного философа и публициста Н. А. Бердяева. К этим выступлениям pro присоединены Н. С. Лесков и Д. И. Писарев. Ряд contra составлен из двух обстоятельных разборов романа, выполненных А. А. Фетом (при участии В. П. Боткина) и Н. Н. Страховым.

⁷² Плеханов Г. В. Избр. философ. произв. Т. IV. С. 347.

⁷³ Подробнее см.: Рейсер С. А. Некоторые проблемы изучения романа «Что делать?» // Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Л., 1975. С. 783–787; Пинаев М. Т. Загадка издательского феномена романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» // Волга. 1986. № 4. С. 181–191; Демченко А. А. Писатель — журнал — власть: Из цензурной истории романа «Что делать?» // Цензура как социокультурный феномен: Науч. докл. / Отв. ред. И. Ю. Иванюшина. Саратов, 2007. С. 71–84.

⁷⁴ См.: Скафтымов А. П. Комментарий к журнальной редакции «Что делать?» // ПСС. Т. XI. С. 706–710; Тамарченко Г. Е. Романы Н. Г. Чернышевского. Саратов, 1954. С. 134–144.

При существенном разбросе мнений все представленные в данном разделе Антологии авторы единодушны в одном — в признании слабой художественности произведения. Сам Чернышевский не настаивал на художественности своего сочинения в общепринятом эстетическом содержании понятия. «Мой рассказ,— пояснял автор в „Предисловии“,— очень слаб по исполнению сравнительно с произведению людей, действительно одаренных талантом», и «все достоинства повести даны ей только ее истинностью», поэтому в ней «все-таки больше художественности, чем в них» (ПСС. Т. XI. С. 11). Комментарий Писарева, не отрицающего отсутствия в «Что делать?» художественности: «Сила Чернышевского заключается не в самородном художественном таланте, а в широком умственном развитии», «оставаясь верным всем особенностям своего критического таланта и проводя в свой роман все свои теоретические убеждения, г. Чернышевский создал произведение в высшей степени оригинальное и чрезвычайно замечательное», роман «создан работою сильного ума; на нем лежит печать глубокой мысли». Примерно о том же говорили Плеханов и Бердяев. Выявлению художественных недостатков романа посвятил значительнейшую часть своей статьи А. А. Фет. В конечном счете, с «оригинальностью» романа приходилось так или иначе считаться всем, кто по какому-либо поводу обращался к оценке этого произведения, «достоинства и недостатки» которого, словами Писарева, «принадлежат ему одному».

Наибольшее внимание критиками было уделено воплощенной в образной системе романа этической теории его автора, опирающейся, по формуле самого Чернышевского, на «антропологический принцип в нравственных науках» (ПСС. Т. VII. С. 293) и получившей название «разумного эгоизма». Называя эту систему «этикой утилитаризма» и «плоским учением», Зеньковский в то же время видит то, мимо чего прошел, например, Плеханов, упрекнувший Чернышевского в излишней рассудочности этического учения и близости его к просветительству XVIII века. Автор «Антропологического принципа в философии», проводя постоянно мысль о готовности естественных наук предоставить материалы для «точного решения нравственных вопросов» и эгоизме как основе всех корыстных и бескорыстных движений в человеке (ПСС. Т. VII. С. 258), в то же время включает в этот проблемный круг мысль о том, что

эгоистический корень всех движений «не отнимает цену у героизма и благородства» (ПСС. Т. VII. С. 284–285), и тем самым, пишет Зеньковский, «не устраниет автономии оценивающей силы духа». Замечание такого рода в известной степени уточняет, скажем, высказывание Н. О. Лосского: «То, что такие люди, как Чернышевский, посвятившие всю жизнь бескорыстному служению безличным ценностям, стремились объяснить свое поведение мотивами эгоизма, часто является следствием того, что называется скромностью, которая не позволяла им прибегать к таким высокопарным словам, как „состъ“, „честь“, „идеал“ и т.д.»⁷⁵

Дело, как видим, не в простой скромности, а в осознанном понимании характера выписанных в «Что делать?» «новых людей», несущих собою «образчик внутренней независимости и настоящей гармонии взаимных отношений» (Н. С. Лесков), образы «положительного человека», «человека вполне», «цельного и внутренне гармонического» (В. В. Зеньковский).

Еще в 1856 г. Чернышевский в рецензии на стихотворения Огарева, рассуждая по поводу нового героя в литературе, преемника Печорина, Бельтова и Рудина, писал: «Мы ждем еще этого преемника, который, привыкнув к истине с детства, не с трепетным экстазом, а с радостной любовью смотрит на нее, мы ждем такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышались бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью, и человек может свою жизнь согласить с своими убеждениями» (ПСС. Т. III. С. 568). «Жизнь согласить с своими убеждениями» — то как раз, что составляло смысл нравственной программы самого Чернышевского. Для «новых людей» в «Что делать?» характерно именно это качество.

В разработке типа положительного героя автор «Что делать?» находил материал не только в собственной биографии и жизни некоторых близких ему лиц. Ранее Чернышевского основные черты «новых людей» и принципы их нравственного поведения сформулировал Н. А. Добролюбов. В статье «Когда же придет настоящий день?», написанной за несколько лет до «Что делать?», находим даже само определение — «новые люди». Чернышевский ввел его в подзаголовок к названию своего романа, и этому

⁷⁵ Лосский Н. О. История русской философии. Л., 1991. С. 70.

определению суждено будет стать устойчивым историко-литературным термином.

В статье о Тургеневе и в ряде некоторых других работ Добролюбов дал развернутую характеристику «новых людей», будущих героев в жизни и литературе. Собранные вместе, эти высказывания-размышления образуют своеобразный нравственный кодекс, получивший развитие в художественной системе романа «Что делать?». Вот что о «новых людях» писал Добролюбов:

Они рано приучают себя к «самостоятельному размышлению, к сознательному взгляду на все окружающее». Это «люди цельные, с детства охваченные одной идеей, сжившиеся с ней так, что им нужно — или доставить торжество этой идеи, или умереть». Они имеют силы отречься «от целой массы понятий и практических отношений, которыми они связаны с общественною средою», им свойственна «энергическая попытка для исправления пошлой среды». Для них характерно «полное соответствие практической деятельности с теоретическими понятиями и внутренними порывами души», у них «слово не расходится с делом». Они испытывают «любовь к истине и честность стремлений», «боль — о чужом страдании», их «переполняет жажда деятельного добра», и они способны «добро делать по влечению сердца, а не потому, что надо делать добро». Они полны ненависти ко всякому насилию, произволу и стремятся «борьбою помочь слабым и угнетенным». Они не боятся «желать себе счастья», ищут «возможности устроить счастье вокруг себя», не думают «ставить свое личное благо в противоположность с своей жизненной целью». Для них «самоотвержение как удовлетворение потребности сердца, а не как формальное исполнение какого-то внешнего, сурового предписания». Наконец они никак не могут «понять себя отдельно от родины»⁷⁶.

Заметим, что именно таковы «новые люди» в романе «Что делать?». Они честны, полны жажды деятельного добра, не мыслят личного счастья без счастья других. Грубому эгоизму, которым зачастую охвачен темный, непросвещенный человек, представитель старого мира, заботящийся только о себе и готовый пренебречь интересами окружающих, «новые люди» противопоставили эгоизм «разумный», эгоизм просвещенного че-

⁷⁶ Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1961–1964. Т. 2. С. 389, 547; Т. 6. С. 101–110, 120, 127, 139–140.

ловека, желающего себе выгоды, но не за счет ближнего. Нравственная чистота «новых людей», призыв к человеку становиться добре и в то же время непримиримее к злу и пошлости, согласовать свои убеждения с поступками — таковы исходные начала нового литературного типа, о котором размышляли наши писатели-демократы.

Развёрнутая в суждениях и поступках персонажей «Что делать?» теория «разумного эгоизма» истолкована через призму христианских (общечеловеческих) ценностей религиозным философом А. М. Бухаревым. По его словам, в романе «выражено много благородных инстинктов, которые, впрочем, оставаясь в своей глупой безотчётности, могут доводить иных до равных гибельных глупостей; а если те же инстинкты выяснить и осмыслить, они могут быть корнем уже полезного и разумного добра». По поводу следования «новых людей» своим нравственным установкам автор разбора заключает: «С таким эгоистическим расчётом можно и не отказываться от добродетели и нравственности».

В своей оценке «Что делать?» Бухарев исходит из мысли, что догматы истины Христовой своеобразно прорастают в романе Чернышевского, у которого «удивительное на это чутьё». Роман так построен, что «лучшее в нём есть почти только ещё намёк, предоощущение истины, инстинктивное увлечение в пользу истины, в ущерб собственной теории романиста». Христианскую мораль критик извлекает из описаний мастерских и утопических страниц романа.

Философски обобщая в своем, христианском, смысле авторские изображения взаимоотношений Лопухова, Веры Павловны, Кирсанова и Екатерины Полозовой, Букхарев писал о романе: «Не могу не видеть в нём замечательного выражения русской мысли, неудержимо рвущейся к свету истины». Эта оценка была энергично поддержанна Бердяевым, уделившим Чернышевскому содержательные страницы в историософском исследовании русской идеи. «Но роман Чернышевского,— продолжает Н. А. Бердяев,— всё же очень замечателен и имел огромное значение. Это значение было, главным образом, моральное. Это была проповедь новой морали. Роман, признанный катехизисом нигилизма, был оклеветан представителями правого лагеря, начали кричать о его безнравственности те, кому это менее всего было к лицу. В действительности, мораль «Что

делать?» очень высокая». И далее следует ссылка на А. М. Бухарева, признавшего роман «христианской по духу книгой».

Поддержка «разумного эгоизма» сближает Бухарева с мнением Писарева, идейного единомышленника Чернышевского, к каковым Бухарев, конечно, не относился. «В жизни новых людей,— говорил Писарев в своей статье 1865 г. о романе „Что делать?“,— не существует разногласия между влечением и нравственным долгом, между эгоизмом и человеколюбием; это очень важная особенность».

В характеристике «новых людей» Бухарев близок и к Н. С. Лескову, записанному историками литературы чуть ли не во враги Чернышевского. Он писал в 1863 г., в год опубликования «Что делать?», что в «новых людях», предлагающих свое понимание взаимоотношений, ему видится «бескорыстие, уважение к взаимным естественным правам, тихий верный ход своею дорогою, никому не подставляя ног», и их «по моему мнению,— убеждал Н. С. Лесков,— лучше бы назвать „хорошие люди“...».

Другой критик был иного мнения и назвал их иронично «счастливые люди». Ф. М. Достоевский вспоминал об этой статье Н. Н. Страхова, которую прочитал в рукописи, как «замечательной», поскольку в ней «именно отдается все должное уму и таланту Чернышевского. Собственно об романе его было даже очень горячо сказано. В замечательном же уме его никто и никогда не сомневался. Сказано было только в статье нашей об особенностях и уклонениях этого ума, но уже самая серьезность статьи свидетельствовала и о надлежащем уважении нашего критика к достоинствам разбираемого им автора». Достоевский запамятовал, статья Страхова не стала «нашей», она не появилась в только что закрывшемся журнале Достоевского и была опубликована в 1865 г. в «Библиотеке для чтения». О романе в статье говорилось, что он «останется в литературе. Ибо он вовсе не производит смешного впечатления... Роман написан с таким воодушевлением, что к нему невозможно отнести хладнокровно и объективно, как это требуется для благодушного и искреннего смеха. Значит, он возбуждает негодование или вообще тяжелое чувство — заметят, может быть, читатели. А если бы даже и так, скажу я на это, то все-таки для этого многое требуется». В том же ироническом контексте шли слова о том, что в нем «есть некоторая наблюдательность, есть черты, верные действительности, есть даже некоторая ловкость в изображении,

попытки на образы». Вот и все о «достоинствах». И далее, нарочито обыгryвая свою принадлежность к «проницательным» читателям, саркастически изображенными в романе, критик передает основной смысл произведения: «Новым людям жизнь легка; весь роман, в котором они изображены, состоит из рассказа о том, как искусно они умеют избегать всякого рода неудобств и несчастий», это «счастливые люди».

Достоевский, вероятно, держал в руках несколько иную редакцию статьи, и Страхов передал в «Библиотеку для чтения» подправленный вариант, не во всем совпадающий своими характеристиками романа и его автора с первоначальным текстом.

По духу и приемам полемики этот разбор смыкается со статьей Фета, с откровенно неприязненным вплоть до враждебности выступлением Ф. М. Толстого в «Северной пчеле», получившим своего рода отповедь Н. С. Лескова, а также с воинствующей позицией опровергателя эстетики Чернышевского А. Л. Волынского, пока его не одернул Вл. С. Соловьев.

Идейный пафос выступления Фета, писавшего при участии В. П. Боткина, составило неприятие социальных идей автора «Что делать?» и связанных с ними утопических страниц романа. В этой критике содержалось немало верных замечаний, но в целом она была далека от объективного разбора. Идейные настроения Боткина к этому времени уже были совершенно иными, сравнительно с его отзывом о диссертации Чернышевского в 1855 году. Очень верно в рассматриваемом контексте звучит характеристика, данная Боткину П. В. Анненковым в его воспоминаниях «Замечательное десятилетие». Говоря, что «замечательный человек этот перешел множество стадий развития», мемуарист свидетельствовал: «На склоне жизни, с ослаблением сил и уже тогда, когда он сам сделался значительным капиталистом, В. П. Боткин занял почетное и видное место в рядах нашей ультраконсервативной партии»⁷⁷. Эти «ультраконсервативные» взгляды и диктовали Боткину страницы, которые, оценивая социальные идеи автора «Что делать?», были вставлены в статью Фета.

Как видим, Лесков, Бухарев, и Бердяев, по своему мировоззрению стоявшие, подобно Фету и Боткину, далеко от взглядов Чернышевского, все же находили возможным объективно оценить

⁷⁷ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 331.

его значение как автора некогда нашумевшего романа, глубоко нравственного в своей основе и на этой линии получающего некоторые точки соприкосновения с общечеловеческими моральными ценностями. Оба философа ценили в романе и в его авторе, говоря словами Бухарева, «замечательное выражение русской мысли», оба убеждены, что, словами Бердяева об авторе «Что делать?», «глубина его нравственной природы внушала ему очень верные и чистые жизненные оценки. В нём была большая человечность, он боролся за освобождение человека. Он боролся за человека против власти общества над человеческими чувствами».

Публикуемые в Антологии материалы, иные из которых оказывались малодоступными или по идеологическим причинам неудобоприменимыми,— лишь первый шаг в направлении понимания Чернышевского в его эпохе и в восприятии современниками и последующими критиками и мыслителями его взглядов, в свое время оказывавших могущественное воздействие на формирование русского общественного самосознания.

